

В.В.Налимов  
**Канатоходец\***

### 1. Пролог

*Лилия Богоматери*

Ты, чьим легким стопам пьедесталами  
 Служат узкие шпили соборов,  
 Над зубцами дворцов, над кварталами  
 Осенившие каменный город!  
 Охрани под свистящими вьюгами,  
 Защити, как детей, Мадонна,  
 Выходящих без лат, без кольчуги,  
 На дорогу печали бездонной!

*Даниил Андреев*  
*«Песнь о Монсальвате»*  
*(неоконченная поэма, 1934-38 гг.)*

1. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря  
 зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять  
 диадем, а на головах его имена богохульные.

4. И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто  
 может сразиться с ним?

5. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно...

15. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ  
 зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не  
 будет поклоняться образу зверя.

*Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 13.*

\* Варианты заглавия книги — «L'erave», «Wreckage», «der Schiffbrüchige», что означает «обломки от кораблекрушения».

От редакции. Публикуемый ниже материал представляет собой фрагмент книги воспоминаний, над которой работает известный ученый и философ Василий Васильевич Налимов, создатель «вероятностной» модели сознания, автор книг «Вероятностная модель языка» (М., 1979), «Спонтанность сознания» (М., 1989) и других работ.

Книга «Канатоходец» готовится к изданию в Библиотеке журнала «Путь».

## 2. Введение

*Фрагменты семейной хроники в дни революционного террора,  
когда новые  
Смыслы жаждали крови.*

*...Так идут державным шагом  
Позади — голодный пес,  
Вперед — с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули неведим,  
Нежной поступью надежной,  
Снежной россыпью жемчужной  
В белом венчике из роз —  
Вперед — Иисус Христос.  
А. Блок «Двенадцать» (январь 1918 г.)*

Когда на семантическом поле возникает ураган, когда порождаются смерчи, насыщающие смыслы безудержной энергией, тогда начинается революция.

Революция — это порыв народной страсти, безудержной, раскованной, жестокой.

Революция — это жажда нового, еще никогда не бывалого. В революции романтика разрушения: вера в то, что дух разрушающий (как это полагал М.Бакунин) становится духом созидающим.

Но разрушению, даже разрушению ветхого, всегда есть сопротивление. И смыслы — смыслы нового, ожесточаясь, начали жаждать крови. Кровью обагрялся и белый венчик из роз. И было еще раньше сказано:

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34).

Но меч всегда опасен: ... ибо все, взявшие меч, мечем погибнут (Мф. 26, 52).

Страсть всегда мимолетна. На смену ей приходит унылое похмелье. Смыслы, стараясь устоять, костенеют в своей закрытости. Становятся идеологией. Обращаясь к силе, они стали создавать удручающую — еще никогда не виданную *власть*, обернувшуюся неизгладимой национальной трагедией.

Ветер судьбы заставил меня с детства соприкоснуться с трагичностью, порожденной осатанелыми смыслами. Не обошла она и никого из близких мне.

Моя мать — Надежда Ивановна — была врачом-хирургом. Во время гражданской войны ее мобилизовали в Красную Армию для работы в сыпнотифозном госпитале, где она и погибла от этой ужасной болезни. И ее смерть в Красной Армии не спасла ее отца — в прошлом энергичного предпринимателя — от лишения избирательных

прав и высылки из родного дома. Ее брат, а впоследствии и сестра, не выдержали унижения и покончили с жизнью. Сейчас, перелистывая старые семейные фотографии, я вижу, что моя мать всегда выглядела очень печальной. Было ли это предчувствие того, что она никогда не увидит своих детей взрослыми? Помню, как, будучи мальчиком, я как-то пошел с ней в госпиталь (еще в дни первой мировой войны), где у нее должен был быть послеоперационный вечерний осмотр. Я положил почему-то свою руку в карман ее пальто. Она взяла мою руку и сказала: «Ну вот, ты скоро уже будешь совсем большой, и я смогу опереться на твою руку». Но этому не дано было свершиться.

Мой отец — Василий Петрович — профессор, вышедший из глухой северной деревни, умер в тюрьме в 1939 г., после второго ареста.

Моя сестра — Надежда — во время второй мировой войны была женой английского офицера — сотрудника Королевской военной миссии. После окончания войны муж ее должен был вернуться на родину, она, естественно, была отправлена в исправительно-трудовой лагерь. После хрущевской реабилитации в Москву возвращается больной человек с надорванной психикой. Со всей присущей ей страстностью она стремилась в Англию, но напрасно. Муж-англичанин отрекается от нее, сидевшей в русском лагере.

Примечательна своей парадоксальностью история семьи моей мачехи — Ольги Федоровны. Здесь со всей отчетливостью проявляется вся нелепость семейной сопряженности противостоящих друг другу смыслов. Ее родителями были деревенские учителя, одновременно занимавшиеся сельским хозяйством с использованием рабочей силы (в революционной терминологии попросту — кулаки), но как иначе в предреволюционное время они могли бы дать не только среднее, но и высшее образование семерым своим детям? Один из ее братьев в дни гражданской войны был белым офицером, но судьба почему-то охранила его. Другой — во время первой мировой войны, будучи связанным (еще в школьные годы) с партией эсеров, оказался под угрозой повешения. Бежал за границу — тогда это было просто. После революции вернулся, но ему не очень понравились новые порядки и он снова бежал — нашелся польский контрабандист, который перевез его в чемодане через границу. Был арестован в Польше как русский шпион. Потом оказался в Льеже, где получил диплом горного инженера. Работал в Бельгийском Конго. Оттуда приходили заманчивые открытки: котедж среди пальм, негры-слуги в белых одеждах. Но душа бывшего революционера не могла смириться с колониальными порядками — он вмешался в недозволенное. Жену его отравили, он оказался в Бельгии, заключенным в католический монастырь (фирма боялась

разоблачений), где получил прекрасную подготовку в мистических учениях. Потом опять в России — его деятельность по открытию крупных месторождений цветных металлов в Казахстане чередуется с легким отдыхом в психиатрических лечебницах; его идеей фикс было спасение негров в Америке. Но вот младшая сестра из этой «вполне обыкновенной» семьи сразу после окончания гимназии оказалась следователем ЧК в Казани. Позднее она окончила химфак МГУ и работала в ЦК партии. Но недолго. Внутренне она была необратимо надорвана. Говорили, что тогда был такой порядок: дежурный следователь должен был сам расстреливать тех, чей расстрел приходился на этот день, или — по другой версии — тех, чье дело он вел. Но как бы то ни было, нам — тогда еще подросткам — категорически было запрещено ее расспрашивать о чем-нибудь. А очень хотелось.

И, наконец, муж одной из сестер моей мачехи — Иосиф Моисеевич Фейгель (позднее просто Павлов). Он был сначала фельдшером в том селе, откуда происходила семья мачехи. Потом — председателем губернского ЧК в Киеве. (Легко представить себе, что делалось в этом городе, который был оплотом не только утонченной интеллигенции, но и русского черносотенства.) Через некоторое время Ф. Дзержинский предлагает ему возглавить московскую ЧК. Он отказывается и поступает учиться в Институт красной профессуры. (В этом Институте, кажется, почти все были поклонниками левого коммунизма Л. Троцкого, и меня, еще подростка, он пытался вдохновить этими идеями, но напрасно, мне и тогда это казалось достаточно нелепым.) Запомнился мне один эмоционально напряженный разговор моего отца с этим родственником:

*Фейгель:* Я вижу, что Вас должны будут скоро расстрелять.

*Отец:* И я это предвижу. Но Вас расстреляют все же раньше, чем меня.

Предсказанное исполнилось: Фейгель был арестован раньше и погиб в лагере. Не спас и боевой орден, данный за кровавое усмирение мятежного Кронштадта. Его единственный сын погиб на войне. Он защищал не только родину, но и тех, кто так расправился с его отцом за верную службу.

Теперь мне хочется вспомнить своего крестного отца — Д.Т. Яновича. Я часто навещал его — у него была прекрасная библиотека книг для подростков. Его квартира (в доме с памятью о Гоголе) была, как музей, — он был, как и мой отец, этнографом. Свой род он вел от знати Запорожской Сечи — украинской вольницы. Дома еще хранилось и кресло прабабушки, и боевое седло прадедушки. Страстью Яновича были анекдоты — не только непристойные, но и политические. Здесь он был непревзойденным мастером.

И жизнь свою, естественно, закончил в лагере. Анекдоты, в той форме и той напряженности, которую они тогда обрели, — это, кажется, было чисто русское явление. Это — издевка из-за угла. Это — последний посильный протест. Протест опасный — за острое слово приходилось платить жизнью. Но молчать иным было уже не в состоянии.

Но вернемся к семейной хронике. Моя первая жена — Ирина Владимировна Усова. Ее отец — дворянин и небогатый помещик, имевший имение в Курской губернии. Он получил агрономическое образование в Германии, и его страстные усилия были направлены на то, чтобы показать, как здесь, на русском черноземе, можно вести разумное, технически оснащенное хозяйствование. Не мог он перенести разрушения всего того, что считал главным делом своей жизни, и умер от сердечного приступа, бежав из своего родного дома. Его сын Алеша — только начинавший самостоятельную жизнь человек — был расстрелян после того, как армия Колчака уже сложила оружие. Их — офицеров — расстреляли без суда\*: об этом с глубокой скорбью написала в письме сибирская крестьянка — хозяйка того дома, где Алеша жил, начав работать сельским учителем. Позднее, в 1947 г., была арестована и его сестра Татьяна по делу друга дома — поэта Даниила Андреева (это уже было большое «дело» — по нему арестовали 50, а может быть, и 100 человек, подробнее к этому «делу» я вернусь позднее). Каким-то удивительным образом удалось охранить от ареста другую сестру — мою тогдашнюю жену Ирину. Их мать, Мария Васильевна, не могла пережить ареста любимой дочери и близкого ей по духу, очаровавшего ее поэта. Быть другом поэта, любя поэзию, — поэта милостью Божией, — это удивительное счастье. И все рухнуло, обернувшись кошмаром для всех. (В свое время Мария Васильевна закончила Институт благородных девиц, свободно владела немецким и французским

\* Позднее, в 30-е годы, в камерах Бутырской тюрьмы, провожая уходящих в неведомое, пели два гимна: «Гимн соловчан» и романс Вертинского, посвященный женщине, оплакивающей мужа-офицера в братской могиле расстрелянных.

Я не знаю, зачем и кому это нужно,  
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой.  
Только так беспощадно, так зло и ненужно  
Опустили их в вечный покой.

Осторожные зрители молча кутались в шубы,  
И какая-то женщина с искаженным лицом  
Целовала покойника в посиневшие губы  
И швырнула в священника обручальным  
кольцом.

Забросали их елками, замесили их грязью,  
И пошли по домам под шумок толковать,  
Что пора положить бы конец безобразью,  
Что и так уже скоро мы начнем голодать.

И никто не додумался просто встать на колени  
И сказать этим мальчикам, что в бездарной  
стране  
Даже светлые подвиги — это только ступени  
В бесконечные пропасти к недоступной весне!  
Москва, октябрь 1917 г.

И если этими словами мы провожали уходящих, то теперь они остаются памятью о тех, кто не вернулся.

языками. В 20-е годы окончила курсы переводчиков В. Брюсова. Профессионально переводила таких поэтов, как Рильке, Верлен, Бодлер. Потом кто-то заподозрил что-то. Ей дали для перевода антирелигиозное стихотворение. Она отказалась. На этом закончилась ее переводческая деятельность. А она жила поэзией. Могла часами обсуждать перевод какой-то одной строчки — предлагая все новые и новые варианты, проводя нескончаемые сравнения с переводами других.) Был истреблен и этот крохотный островок, остававшийся еще от дворянского прошлого России.

Вторая моя жена — Жанна Дрогалина. Ее отец был арестован в конце 30-х или в начале 40-х годов, и о нем больше ничего не известно. Мать Жанны и ее отчим — суровые партийцы. Дома никто и никогда не говорил о ее отце. Она услышала о нем впервые во время одной из бесед в отделе кадров. Ей был задан вопрос: «А знаете ли Вы, что у Вас не родной отец?» Она не знала.

А где друзья ранних лет моей юности? Если их или их семьи не затянула трясина репрессий, то они погибли во второй мировой войне с Германией, охваченной своими демоническими силами. Здесь мне хочется вспомнить школьного друга Петю Лапшина. Он был обаятелен своей открытостью, отзывчивостью — готовностью помогать всем. Мы, его друзья, постоянно толпились в его и без того тесной квартире в одном из арбатских переулков. Постоянно ездили вместе на загородные прогулки. Нас объединяло и то, что мы были молоды, и то, что мы все были интеллигентны и понимали, в той или иной степени, всю нелепость и трагичность происходящего. И вот текущие изъятия: у Дины Кузьминой, родственницы Пети, вдруг арестовывают отца — преподавателя одного из вузов; позднее у Гали Чернушевич так же и столь же неожиданно арестовывают отца — он был главным металлургом одного из крупных московских заводов и буквально дни и ночи проводил на работе; здесь одна деталь — в ночь обыска сбежал Галин муж, оставив беременную жену без средств к существованию; Федя Виттов — его не оставляли в покое соответствующие органы: он происходил из когда-то знатных литовских дворян и был не без греха — умел и страстно любил рассказывать анекдоты, естественно, положенные ему три года он получил; и как-то совсем ненадолго среди нас появилась Катя (ее фамилию я не могу вспомнить) — у нее был голос удивительного тембра, ее готовили в актрисы на большой сцене, голос придавал ей особую обаятельность и это сгубило ее — она не ответила должным образом на чьи-то притязания и исчезла. А сам Петя во время войны отказался от брони (по работе), пошел добровольцем в армию и сразу же был убит у своего пулемета.

Теперь другое воспоминание: математическое отделение физико-математического факультета Московского университета имени

Покровского, 1930 год. В один сумрачный день шепот пробежал среди нас, студентов: арестован профессор Дмитрий Федорович Егоров. Он был основателем московской математической школы. Мы слушали его лекции, учились по его учебникам. В своих общечеловеческих взглядах он, конечно, был старомоден. К тому же ранее исполнял обязанности старосты университетской церкви. А во время ареста был уже совсем старый и больной человек — в тюрьме скоро скончался. И опять хочется задать все тот же вопрос: кому и зачем была нужна его смерть?

А где мои духовные учителя, чьи имена я чту и чье дело я пытаюсь продолжать в своих работах философской направленности? Я узнал только, что они были реабилитированы много раньше, чем я. Тюремные дела тоже полны парадоксов.

А мои скитания: арест в 26 лет. Весной 1937 г. приговор Особого совещания (без суда): 5 лет исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную деятельность. Репрессия в разных своих проявлениях растянулась на 18 лет. В 1953 г. по амнистии с меня снимается судимость. Снимается потому, что у меня в приговоре было всего-то только 5 лет! В 1960 году, наконец, реабилитация. Но и по сей день я подчас чувствую за собой плетущуюся тень с кличкой «враг народа»\*.

Со мною вместе были арестованы и многие другие; два моих еще школьных товарища — Юра Проферансов и Ион Шаревский погибли в лагерях. А о «Деле» в целом я практически ничего не знаю. В плане духовном, видимо, все погибло. Иногда мне кажется, что я только один и продолжаю в своих работах ту, начавшуюся тогда, новую для России нить философского осмысления мира с синтетических позиций, готовых впитать в себя все богатство мысли как Запада, так и Востока, не чуждаясь ни многообразия различных религиозных представлений, ни научных построений, ни философских изысканий.

Не нужно думать, что трагичность сгущалась только вокруг отдельных личностей и их окружения. Она была повсеместной. С начала 30-х годов она стала эпидемией, захватывавшей в той или иной мере все слои общества. Наверное, эту эпидемию можно было бы назвать робеспьеровской. Как и всякая эпидемия, она реализовывалась все же избирательно, захватывая прежде всего людей выдающихся и особенно талантливых. В своих философски ориентированных работах я иногда обращаюсь к поэтам нашей страны недавнего прошлого. Вот как обернулась их судьба: Александр Блок — принявший русскую революцию и воспевший ее, — умирает, находясь в тяжелом нервном расстройстве в голодном Петрограде; Николай Гумилев рас-

\* Геноцид имеет разные проявления. В старой России в реакционных кругах была поговорка: «Крещеный жид — все же жид».

Вот так и с реабилитированным — он все же для хранящих чистоту веры остается врагом.

стрелян в 1921 г. (позднее в лагере оказывается его сын — историк Лев Гумилев\*); Сергей Есенин — повесился; Марина Цветаева после нескончаемых унижений также вешается; Владимир Маяковский — стреляется; Николай Заболоцкий отбывает свой срок в лагере; Максимилиан Волошин умер своей смертью, но в начале 20-х годов в буйствующем Крыму он читал свое имя в списке приговоренных\*\*; Даниил Андреев (я о нем упоминал выше) выходит из Владимирской тюрьмы в середине 50-х годов уже совсем больным и умирает в 1959 г.; Александр Коваленский (родственник А. Блока) — выдающийся писатель и поэт, чьи произведения, кажется, безвозвратно погибли, оставшись мало кому известными, — был осужден по делу Андреева, также вышел из тюрьмы больным и вскоре умер; Осип Мандельштам — величайший мастер русского слова — умер в одном из лагерей; Александр Введенский — поэт-философ, удивительно осмысливший проблему времени, умер, будучи арестованным, — у нас он до сих пор известен только как детский поэт... Похоронный список поэтов здесь, конечно, неполон. Но и он устрашает. Истребляющая сила была неумолима и изобретательна. Ее задачей было — порвать связь поколений, освободить дорогу новому, никак не скованному прошлым. И это, кажется, удалось...

Да, все это не более чем суровая, жестокая расплата за попытку обрести новые смыслы не лично, а в целом для народа, для всего народа — не подготовленного к тому, чтобы вынести бремя открывшейся ему свободы. Бремя оказалось слишком тяжелым, неудобным, невыносимым. Свобода обернулась разгулом, из которого стала выкристаллизовываться несвобода, еще более суровая, чем это было раньше. Новая идеология всегда страшнее, чем старая, одряхлевшая.

Но все же были периоды междуцарствия, когда свободу не удавалось сдерживать. Вспомним Февральскую революцию. Русская Бастилия — Шлиссельбургская каторжная тюрьма пала 28 февраля без единого выстрела\*\*\*.

Можно вспомнить и 20-е годы. Кончилась гражданская война, начался НЭП, и люди вздохнули с надеждой. У многих тогда еще сохранялась открытость к свободе. Была вера — удивительная вера в

\* Трагизм его ареста запечатлен в знаменитой поэме его матери Анны Ахматовой — «Реквием».

\*\* В его стихотворении «Дом поэта» находим такие строки:

И сам читал в одном столбце с другими  
В кровавых списках собственное имя.

\*\*\* Освободить каторжан пришло 12 тысяч рабочих Шлиссельбургских пороховых заводов. Заключенные ничего не знали о начавшейся революции. Никто ничего не ждал. Свершилось немыслимое, сказочное. Рухнул оплот многовековой имперской власти. Перестала существовать центральная государственная тюрьма. Относящиеся сюда строки (Гернет, 1963) и сейчас нельзя читать без волнения, особенно тому, кто по личному опыту знает, что такое тюремная решетка на окне.



то, что социальную справедливость можно осуществить здесь и сейчас. Казалось, что в жизни делается что-то совершенно невиданное, неслыханное. Делается то лучшее, о чем могло мечтать человечество. Шел напряженный поиск нового во всем — в философии, в научной и религиозной мысли, в искусстве — особенно в театре, в школе — даже в обычной средней школе, в сектантстве — народном и изысканно эзотерическом, переживавшем пору своего расцвета\*. Соответственно росло разногласие.

Разномыслию уже тогда стала противостоять государственно узаконенная устремленность к всеохватывающему единомыслию. Сначала казалось, что это противостояние происходит где-то на периферии — в точках крайней напряженности. Но потом стало ясно, что оно становится повсеместным, затрагивая каждого из нас. Каждого из тех, кто не мог следовать беспрекословно за витиеватым ходом раскрытия новой идеологии.

В школьные годы у меня был друг — Игорь Тарле. Его отец — известный меньшевик, провел все те 20-е годы то в политизоляторах, то в ссылках. Только раз я его видел где-то между двумя ссылками — он оказался проездом в Москве.

Вспоминаю Лелю Гендельман. На исходе школьных лет познакомил меня с ней Ион Шаревский. Она была немного старше нас, но мы быстро подружились. Одно время она была непререкаемым участником наших умных — философских бесед, они и проходили чаще всего у нее дома, — она одна из всех нас имела собственную комнату. Ее родителей я никогда не видел — ее отец был членом ЦК партии правых эсеров и всегда находился в ссылке. Увлекательные беседы, правда, продолжались недолго — удручающей показалась мне ее страстная приверженность к гегелиано-марксистским построениям. Позднее я узнал, что она была арестована и получила три года политизолятора за участие в каком-то меньшевистски ориентированном кружке\*\*.

\* Иллюстрируем это хотя бы одним примером: если в 1917 г. численность евангельских христиан-баптистов составляла 250 тысяч, то к 1928 г. она составляла уже около двух миллионов (Bailey, 1987). Это свидетельствует о том, что народ начал сам выбирать свою веру. И естественно, что выбор здесь пал прежде всего на баптистов, несущих большую духовную свободу и вместе с тем требующих большей доброты, отзывчивости и честности.

\*\* И все же тогда свобода еще не была истреблена до конца. Продолжало существовать два общества помощи заключенным: Красный крест — меньшевистский орган (им руководил Винавер) и Черный крест — анархистская помощь (им руководила Агния Солонович). Узнав о случившемся с Лелей, я разыскал Красный крест — две уютные комнатки где-то в центре Москвы, заваленные какими-то бумагами. Там меня встретили приветливо две незнакомые молодые женщины. Я сказал, что принес для Л.Г. деньги и книги по математике (они принадлежали, собственно, ее брату — студенту-математику, тоже репрессированному меньшевику). Мне показалось, что политизолятор — это и есть самое подходящее место для изучения высшей математики философски озабоченной девушкой. У меня все приняли с благодарностью и пониманием. Никто не спросил, кто я и откуда я.

Напомню здесь названия тогдашних Централов (так назывались политизоляторы): Орловский, Ярославский, Владимирский, Суздальский, Верхне-Уральский, Челябинский. До сих пор эти названия звучат для меня грозно и в то же время романтично — в то время в Централы шли еще добровольно, из внутренней убежденности, долга, протеста. Хотели предупредить, но не были услышаны...

Я был знаком с семьей профессора Александра Петровича Нечаева — известного в то время психолога, в прошлом члена партии кадетов. Одно время я учился в Опытно-показательной школе, где он был директором. Позднее, будучи человеком непреклонных убеждений, он высылается из Москвы. Был выслан и его старший сын Модест — востоковед и теософ.

Особенно примечательный случай произошел в 26-м или, может быть, в 27-м году. В первый день Пасхи (тогда это еще был торжественный, всенародный праздник с повсеместным перезвоном колоколов) я захожу под вечер к своему школьному товарищу Сергею Знаменскому (позднее — архитектору, погибшему на войне в саперном батальоне) и узнаю, что утром пропал его брат, которому тогда было лет 16 или чуть больше. Пропал, и все. Его искали, всюду наводили справки, но тщетно. Недели через две он появляется как ни в чем не бывало. Оказывается: утром — в день исчезновения — пошел к храму Христа Спасителя. Там на паперти увидел оживленную, спорящую толпу. То были сектанты разного толка. Послушав, понял, что уровень дискуссии соответствует степени его развития, и активно вмешался в обсуждение. Его, естественно, арестовали за недозволенное своемыслие и потом две недели выясняли — не является ли он чьим-нибудь тайным эмиссаром. Не найдя опасных истоков ереси — выпустили. Без последствий — тогда еще была свобода, хоть какая-то!

Но так было в 20-е годы. К 30-м годам тучи стали сгущаться — аресты подходили вплотную чуть ли не к каждому дому. В 1933 г. был в первый раз арестован и мой отец, но тогда это еще удалось преодолеть. Мы знали, что происходит в деревне... Но в городе под нависшими тучами продолжала идти обычная жизнь. Люди продолжали работать, как всегда. И вот что удивительно: люди работали напряженно, с подъемом, часто даже с энтузиазмом. Так, во всяком случае, было в научных учреждениях, где приходилось работать и мне, так было и на заводах, с которыми мы были связаны. Так работали не потому, что верили в светлое будущее, — в него, кажется, уже почти никто не верил. Почти никто ничего не понимал. Ведь если эпидемия, то что же понимать? Работали потому, что где-то в глубинах сознания сохранялся потенциал, заложенный еще в 20-е годы.

Сейчас, сквозь туман прошедших лет, 20-е годы представляют золотым веком русской Революции. Но и в нем была червоточинка. Разрастающаяся, расширяющаяся червоточинка.

Трудно писать воспоминания о прожитом. Опять гарью застилается душа. Пожар. Горели не леса и села, а человеческие судьбы. Горела судьба страны. Много выгорело совсем. Начисто.

Впервые в истории человечества успешно завершается революция. Великая революция — этого нельзя не признать. Революция, обернувшаяся кровавой мистерией, — этого нельзя не видеть. Революция, подготовленная всем прошлым Европейской истории. Старая культура оказалась полностью истребленной во имя создания новой. Смыслы, долго тлевшие в подполье, наконец вышли на поверхность мировой истории и показали, на что они способны. Эксперимент — гигантский социальный эксперимент, наверное, уже можно было бы считать завершенным. Можно было бы подводить итоги. Но нет — он продолжается. Продолжается потому, что не созрели новые смыслы, способные увлечь сразу многих\*. Я был не только свидетелем, но и участником свершавшихся событий. Участником, пытающимся всегда оставаться самим собой, не подчиняться мрачной идеологии насильственного пути ко всеобщему, законно (как нас в этом уверяли) предназначенному нам счастью.

Обо всем этом я хочу рассказать в своих горестных воспоминаниях. Рассказывая, я буду комментировать — выступая не как ученый-историк (архивы мне недоступны), а как участник событий. Это не более чем мемуары размышляющего участника, страстно желавшего понять природу человека и его предназначение.

А смыслы — суровые смыслы насильственного преобразования человечества, притаившись, все еще жаждут крови. Сейчас многие думающие ищут виновных, подлежащих наказанию. А их нет. Не было зловредного заговора (во всяком случае, в ранние 20-е годы его, по-видимому, никто не ощущал), а была устремленность в новое — неизвестное. Все было как было, и было так, как было подготовлено всей историей страны. Ныне, не забыв еще старых распрей, мы быстро приближаемся к новой — теперь уже не национальной, а планетарной катастрофе. Кто ее готовит? Наверное, все — все те,

\* Смысловый вакуум всегда чем-то заполняется. Появляются псевдосмыслы. И сейчас, как встарь, в нашей стране возникла тенденция к национальному обособлению. Вновь проснулся архетип племени. Могучий архетип, проходящий красной нитью по всей истории человечества. Но времена изменились — культура наших дней стоит теперь перед новыми, суровыми проблемами, которые не могут быть решены путем национального обособления. Они носят общечеловеческий характер, и решать их надо (если вообще возможно) только объединенными усилиями. Необходима совместная устремленность к новому. Будущая культура видится очень многообразной, многомерной — транснациональной. Национальное обособление — это проблема вчерашнего дня. Но это уже другая тема.

кто, будучи погруженным в повседневность своих забот, не ощущает ответственности за происходящее, не проявляет заботы.

Быть может, и впрямь над нами — духовными потомками древнего Средиземноморья, тяготеет Рок — судьбы суровое звучание. Мы не сумели воспринять то, что нам было дано. Входя в храм, особенно в сумрачный — католический, я слышу горестные слова произнесенной молитвы: О, Боже, дай нам силу преодолеть самих себя на предстоящем нам пути!

Мы слышим набат, различаем в нем звучание слов:

*З а б о т а , С у д ь б а , Р о к .*

### Литература

- Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Том V. Шлиссельбургская каторжная тюрьма и Орловский каторжный централ 1907-1917. М., 1963.
- Baylee M.Y. One Thousand Years. Stories from the History of Christianity in the USSR. N. Y., 1987.